# 493.

**А. Н. Голицыну**

*17 августа 1822 г. Царское Село*

Милостивый государь князь Александр Николаевич!

Неприятный случай заставляет меня прибегнуть к Вашему сиятельству и принести Вам жалобу на несправедливость петербургской цензуры1. Я на сих днях отдал для напечатания в листках «Инвалида»2мой перевод одной баллады

английского стихотворца Вальтера Скотта «The Eve of St. John» (Иванов вечер). Сия баллада давно известна; содержание оной заимствовано из древнего шотландского предания; она переведена стихами и прозою на многие языки, и до сих пор ни в Англии, где все уважают нравственный характер Скотта и цель всегда моральную его сочинений, ни в остальной части Европы никому не приходило на мысль почитать его балладу ненравственною или почему-нибудь вредною для читателя. Ныне я узнаю с удивлением, что мой перевод, в коем соблюдена вся возможная верность, не может быть напечатан; следовательно, цензура находит сие стихотворение или ненравственным, или противным религии, или оскорбительным для правительства. Нужно ли мне уверять, что для меня ничего не стоит отказаться от напечатания нескольких стихов: очень равнодушно соглашаюсь признать эту балладу не заслуживающею внимания безделкою; но слышать, что ее не напечатают, потому что она может быть *вредна* для читателей, это совсем иное! С таким грозно-несправедливым приговором я не могу и не должен соглашаться; вижу себя в необходимой обязанности обратиться к беспристрастному и просвещенному правосудию В<ашего> с<иятельства>.

Позвольте мне войти в некоторые подробности. Я сам не в состоянии даже сообразить, на чем гг. цензоры основывают свое мнение; но слышать, что их между прочим в следующем стихе: «И ужасное знаменье в стол возжено!» — пугает слово *знаменье*; дóлжно ли замечать, что слова *знаменье* и *знак* одно и то же и что ни в том, ни в другом нет ничего предосудительного? Если же цензор думает, что слово *знаменье* исключительно принадлежит предметам священным и не должно выражать ничего обыкновенного, то они ошибаются, и надобно отказаться от знания русского языка, чтобы в этом случае с ними согласиться. Еще сказывают о требовании, чтобы я обряды греческой церкви, будто описанные в балладе Вальтер-Скотта, заменил *обрядами шотландскими*. Такое требование для меня совсем непонятно. Во-первых, описаны и английским поэтом, и мною не греческие обряды, а римско-католические, ибо во время, к коему относится происшествие, рассказанное в балладе, римское исповедание было общее в Западной Европе: тогда не было реформатских и того менее особых шотландских обрядов. Во-вторых. Если бы даже в сем сочинении был описаны обряды греческого богослужения, то и в этом можно ли находить что-либо противное нравственности в нашей святой религии? Богослужебные обряды описаны в «Освобожденном Иерусалиме» и у нас в «Россиаде», «Владимире»3, во многих лирических стихотворениях, и кто же думал за то упрекать авторов в неуважении святыни? Смею думать, что я не менее цензоров знаю, сколь предосудительно представлять обряды церкви в неприличном виде или с намерением их унизить, сделать смешными. Но есть ли что-нибудь подобное в переведенной мною балладе Вальтер-Скотта! Я позволяю себе утверждать, что цель оной нравоучительная и что в рассказе и описаниях соблюдено строгое уважение не только к вере и нравам, но и к малейшим приличиям. Наконец, главный порок сей баллады, по мнению гг. цензоров, есть заключение. Убийца от ревности и неверная жена скрываются друг от друга и от света в уединении монастырском; *один дичится людей и молчит*; другая *не смеет взглянуть на свет и грустна*: явное действие раскаяния, втайне терзающего их душу. Вот и всё! И в этом господа цензоры видят оскорбление монашеского сана. Итак, мы в угодность им должны думать, что раскаяние не есть возвращение к добродетели, что оно, изливаясь в слезах пред алтарем в сих святых обителях, где всё вещает о смерти и вечности, следственно, о покаянии, не может своею таинственною силою примирить преступника с небом — такое мнение противоречит не одному человеческому разуму, а учению Бога Спасителя! Как же утверждать, что писатель, представляющий злодея, заключившего себя в стенах монастырских для покаяния, проповедует противное вере, что он оскорбляет святыню! В переводе моем нет точного слова *раскаяние* единственно потому, что его нет и в оригинале, что я не хотел сделать из стихов прозу и что самое слово здесь нимало не нужно для полной ясности. Гг. цензоры видят ли в моей балладе то, чего в ней нет, или произвольно предполагают дурное — не знаю! Во всяком случае, перед таким обвинением нет оправдания! Но я не перед ними хочу оправдываться. Мое желание и обязанность были отдать себя на суд Вашего сиятельства. Уверенный в чистоте моих намерений, я смею думать, что и Вы, милостивый государь, равно уверитесь в том, если благоволите обратить внимание на мой перевод баллады г-на Скотта, которого имею честь при сем представить.

Чтобы совершенно извинить себя перед Вашим сиятельством в том, что утруждаю Ваше внимание длинным письмом своим, я почитаю нужным заметить, что не оскорбленное самолюбие автора, который дорожит каждою строкою своею, заставило меня к Вам обратиться. Здесь дело идет не о стихотворной безделке, которую легко бросить и забыть, но о том, должен ли я быть признан Вами таким писателем, который может позволять себе в своих сочинениях *вредное* и не в состоянии различить его от полезного. Вред везде вред: заключается ли он в одной строке или в целой поэме.

Почитаю нужным еще раз повторить, что не оскорбленное самолюбие автора, который дорожит всякою строкою своею, заставило меня обратиться к В<ашему> с<иятельству>, а необходимость защитить мой характер, который до сих пор, смею надеяться, и ей, и в особенности Вам был не с дурной стороны известен. Покориться приговору цензуры, столь поспешно надо мною произнесенному, значило бы признаться, что написанное мною не согласно с постановлениями закона и что я не имею ясного понятия о том, что противно или не противно нравственности, религии и благим намерениям правительства: осмеливаюсь свидетельствоваться Вами самими, что здесь приговор сей совершенно неоснователен. Если бы просвещенное покровительство В<ашего> с<иятельства> не было надежною защитою против подобных странных и непонятных обвинений цензоров, то благомыслящему писателю, при всей чистоте его намерений, надлежало бы отказаться от пера и решиться молчать: ибо в противном случае он не избежал бы незаслуженного оскорбления перед лицом своего отечества4.

С истинным высокопочтением имею честь быть, милостивый государь, Вашим покорнейшим слугою

*Жуковский*

Царское Село. 17 августа 1822 г.